Алексей Толстой

РУСАЛОЧЬИ СКАЗКИ



Александр Пушкин

Орест Сомов

Николай Гоголь

МИФ

Русалочьи сказки

Алексей Николаевич Толстой, Николай Васильевич Гоголь, Орест Михайлович Сомов, Александр Сергеевич Пушкин

Аннотация
А. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, О. М. Сомов. Русалочьи сказки
Алексей Толстой. Русалочьи сказки
- Русалка
- Иван да Марья
- Ведьмак
- Водяной
- Кикимора
- Дикий кур
- Полевик
- Иван-царевич и Алая-Алица
- Соломенный жених
- Странник и змей
- Проклятая десятина
- Звериный царь
- Хозяин
- Синица

Орест Сомов. Русалка. Малороссийское предание
Орест Сомов. Кикимора. Рассказ русского крестьянина на большой дороге
Орест Сомов. Оборотень. Народная сказка
Александр Пушкин. Русалка
Николай Гоголь. Майская ночь, или Утопленница
I. Ганна
II. Голова
III. Неожиданный соперник. Заговор
IV. Парубки гуляют
V. Утопленница
VI. Пробуждение
Над книгой работали

Аннотация

Встречи с русалками редко заканчиваются счастливо. Они поют в лунных заводях, расчесывают длинные волосы на берегу реки, смеются в камышах и зовут за собой туда, откуда не возвращаются. В этот сборник вошли самые завораживающие произведения русской классики о нечистой силе – о том, как хутора тонут в тумане, мертвецы выходят из воды, ведьмы скрываются среди людей, а древние суеверия оказываются сильнее здравого смысла.

В книгу вошли: «Русалочьи сказки» Алексея Толстого, повесть Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница», пьеса Александра Пушкина «Русалка» и рассказы Ореста Сомова «Русалка», «Кикимора» и «Оборотень».

А. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, О. М. Сомов
Русалочьи сказки

Книга не пропагандирует употребление алкоголя и табака. Употребление алкоголя и табака вредит вашему здоровью.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданию:

Русская литературная сказка / Сост. и примеч. Н. А. Листиковой. — М.: Сов. Россия, 1989.

Гоголь Н. В. Майская ночь, или Утопленница // Полное собрание сочинений и писем в двадцати трех томах. Т. 1. / Отв. ред. тома Е. Е. Дмитриева. — М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, «Наследие», 2001.

Сомов О. М. Были и небылицы. — М.: Сов. Россия, 1984.

Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 томах. Т. 4. Евгений Онегин, драматические произведения. — М.: Гос. изд. художественной литературы, 1960.

© Оформление. ООО «МИФ», 2026



Алексей Толстой. Русалочьи сказки



Русалка



Во льду дед Семен бьет прорубь — рыбку ловить. Прорубь не простая — налажена с умом.

Дед обчертил пешней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил изо льда же кольцо, а внутри его ударил пешней.

Хлынула спертая, студеная вода, до краев наполнила прорубь.

С водой вошли рыбки — снеток, малявка, плотва.

Вошли, поплавали, а назад нет ходу — не пускает кольцо.

Посмеялся своей хитрости дед Семен, приладил сбоку к проруби канавку — сачок заводить и пошел домой, ждать ночи — когда и большая рыбина в прорубь заходит.

Убрал дед Семен лошадь и овцу — все свое хозяйство — и полез на печь.

А жил он вдвоем со старым котом на краю села в мазанке.

Кот у деда под мышкой песни запел, тыкался мокрым носом в шею.

— Что ты, неугомонный, — спрашивал дед, — или мышей давно не нюхал?

Кот ворочался, старался выговорить на кошачьем языке не понять что.

«Пустяки», — думает дед, а сна нет как нет.

Проворочался до полуночи, взял железный фонарь, сачок, ведро и пошел на речку.

Поставил у проруби железный фонарь, стал черенком постукивать по льду.

— Ну-ка, рыбка, плыви на свет.

Потом разбил тонкий ледок, завел сачок и вытянул его полный серебряной рыбешки.

«Что за диво, — думает дед, — никогда столько рыбы не лавливал. Да смирная какая, не плещется».

Завел и еще столько же вытянул. Глазам не верит: «Нам с котом на неделю едева не проесть».

Посветил фонарем в прорубь — и видит, на дне около кольца лежит темная рыбина.

Распоясался дед Семен, снял полушубок, рукава засучил, наловчился да руками под водой и ухватил рыбину.

А она хвостом не бьет, — смирная.

Завернул дед рыбу в полу, подхватил ведро с

малявками и — домой…

— Ну, — говорит, — котище, поедим на старости до отвала, смотри…

И вывалил из полы на стол.

И на столе вытянула зеленый плес, руки сложила, спит русалка, личико — спокойное, детское…

Дед — к двери, ведро уронил, а дверь забухла, — не отворяется.

Русалка спит…

Обошелся дед понемногу; пододвинулся поближе, потрогал — не кусается, и грудь у нее дышит, как у человека.

Старый кот рыбу рассыпанную не ест, на русалку смотрит, — горят котовские глаза.

Набрал дед тряпья, в углу на печке гнездо устроил, в головах шапку старую положил, отнес туда русалку, а чтобы тараканы не кусали — прикрыл решетом.

И сам на печку залез, да не спится.

Кот ходит, на решето глядит…

Всю ночь проворочался старый дед; поутру скотину убрал да опять к печке: русалка спит; кот от решета не отходит.

Задумался дед; стал щи из снетков варить, горшок валится, чаду напустил…

Вдруг чихнуло…

— Кот, это ты? — спрашивает дед.

Глянул под решето, а у русалки открытые глаза, — светятся. Пошевелила губами:

— Что это ты, дед, как чадишь, не люблю я чаду.

— А я сейчас, — заторопился дед, окно поднял, а горшок с недоваренными щами вынес за дверь.

— Проснулась? А я тебя было за щуку опознал.

Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные. Русалка говорит:

— Дед Семен, я есть хочу.

— А я сейчас, вот только, — дед помялся, — хлебец ржаной у меня, больше ничего нет.

— Я леденцов хочу.

— Сейчас я, сейчас…

Вышел дед на двор и думает: «Продам овцу, — куда мне овца? Куплю леденцов…»

Сел на лошадь, овцу через шею перекинул, поскакал в село.

К вечеру вернулся с леденцами.

Русалка схватила в горсть леденцов — да в рот, так все и съела, а наевшись, заснула…

Кот сидел на краю печки, злой, урчал.

Приходит к деду внучонок Федька, говорит:

— Сплети, дед, мочальный кнут…

Отказать нельзя. Принялся дед кнут вить, хоть

и не забавно, как раньше бывало.

Глаза старые, за всем не углядишь, а Федька на печку да к решету.

— Деда, а деда, что это? — кричит Федька и тянет русалку за хвост… Она кричит, руками хватается за кирпичи.

— Ах ты, озорник! — Никогда так не сердился дед Семен; отнял русалку, погладил, а Федьку мочальным кнутом: — Не балуй, не балуй…

Басом ревел Федька:

— Никогда к тебе не приду…

— И не надо.

Замкнулся дед, никого в избу не пускал, ходил мрачный. А мрачнее деда — старый рыжий кот…

— Ох, недоброе, кот, задумал, — говорил дед.

Кот молчал.

А русалка просыпалась, клянчила то леденцов, то янтарную нитку. Или еще выдумала:

— Хочу самоцветных камушков, хочу наряжаться.

Нечего делать — продал дед лошадь, принес из города сундучок камушков и янтарную нитку.

— Поиграй, поиграй, золотая, посмейся.

Утром солнце на печь глядело, сидела русалка, свесив зеленый плес с печи, пересыпала камушки из ладони в ладонь, смеялась.

Дед улыбался в густые усы, думал: «Век бы на нее просмотрел».

А кот ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил. Потом прокрался в избу. Шерсть дыбом, глаза дикие.

Дед лавку мыл; солнце поднималось, уходило из избы…

— Дед, дед! — закричала русалка. — Разбери крышу, чтобы солнце весь день на меня светило.

Не успел дед повернуться, а кот боком махнул на печь, повалил русалку, искал усатой мордой тонкое горло.

Забилась русалка, вывертывается. Дед на печь, оттащил кота.

— Удуши кота, удуши кота, — плачет русалка.

— Кота-то удушить? — говорит дед. — Старого!..

— Он меня съест.

Скрутил дед тонкую бечевку, помазал салом, взял кота, пошел в хлев.

Бечевку через балку перекинул, надел на кота петлю.

— Прощай, старичок…

Кот молчал, зажмурил глаза.

Ключ от хлева дед бросил в колодезь.

А русалка долго на этот раз спала: должно быть,

с перепугу.

Прошла зима. Река разломала лед, два раза прорывала плотину, насилу успокоилась.

Зазеленела на буграх куриная слепота, запахло березами, и девушки у реки играли в горелки, пели песни.

Дед Семен окно раскрыл; пахучий, звонкий от песен ветер ворвался в низкую избу.

Молча соскочила с печи русалка, поднялась на руках.

Глядит в окно, не сморгнет, высоко дышит грудь.

— Дед, дед, возьми меня: я к девушкам хочу.

— Как же мы пойдем, засмеют они нас.

— Я хочу, возьми меня. — Натерла глаза и заплакала.

Дед смекнул.

Положил русалку за пазуху, пошел на выгон, где девушки хоровод водили.

— Посмотрите-ка, — закричали девушки, — старый приплелся!..

Дед было барахтаться… Ничего не помогло — кричат, смеются, за бороду тянут. От песней, от смеха закружилась стариковская голова.

А солнышко золотое, ветер степной…

И за самое сердце укусила зубами русалка ста-

рого деда, — впилась…

Замотал дед головой да — к речке бегом бежать…

А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут.

С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая его голова, мучаясь, открывает рот.

Да мало что наплести можно про старого деда!

Иван да Марья



Десятая неделя после Пасхи — купальские дни.

Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная Полынь-трава. В озера, на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное солнце.

Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древяницами.

Это присказка, а сказка вот какая.

Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера.

Озеро тихое, а слава о нем дурная: водяной шалит.

Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, захлюпают по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной, на голове колпак, тиной обмотан. Увидишь, прячься — под воду утянет.

Строго брат Иван наказывал сестре Марье:

— Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты — ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят…

— Слушаю, братец! — говорит Марья.

Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть; облокотилась она и запела:

Где ты, месяц золотой? —
Ходит месяц над водой, —
В глыбко озеро взглянул,
В темных водах утонул…

Вдруг стукнуло в ставню.

— Кто тут?

— Выдь к нам, выдь к нам, — говорят за ставней тонкие голоса.

Выбежала Марья и ахнула.

От озера до хаты — хороводы русалочьи.

Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют.

Всплеснула Марья ладошами. Куда тут! — обступили ее мавки, венок надели…

— К нам, к нам в хоровод, ты краше всех, будь наша царица. — Взяли Марью за руки и закружились.

Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голо-

ва в колпаке.

— Здравствуй, Марья, — захрипел водяной, — давно я тебя поджидал… — И потянулся к ней лапами…

Поздним утром пришел Иван. Туда, сюда, — нет сестрицы. И видит — на берегу башмаки ее лежат и поясок.

Сел Иван и заплакал.

А дни идут, солнце ближе к земле надвигается.

Настала купальская неделя.

«Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать, вот только лапти новые справлю».

Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям.

Шел, шел, видит — стоит голая липка, с которой он лыки драл.

«Ишь ты, назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону.

Кружил по лесу и опять видит голую липку.

— Наважденье, — испугался Иван, побежал рысью. А лапти сами на старое место загибают…

Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом:

— Не руби меня, милый братец…

У Ивана и топор вывалился.

— Сестрица, ты ли?

— Я, братец; царь водяной меня в жены взял, теперь я древяница, а с весны опять русалкой буду… Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко.

— А нельзя тебе от водяного уйти?

— Можно, найти нужно Полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо бросить.

И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу.

Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются, и вверх в черную тучу мчится Иван.

«Не упасть бы», — подумал и зацепился за серую тучу — зыбкое место.

Пошел по туче — ни куста кругом, ни травинки.

Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.

— Зачем сюда пришел? — заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся.

— Я за Полынь-травою, — поклонился Иван.

— Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой.

Легли они на спины, по одной ноге подняли,

зацепились, потянули.

Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают.

Стал Иван перетягивать.

— Счастье твое, — рычит мужичок, — быть бы тебе на седьмом небе, много я закинул туда вашего брата. Получай Полынь-траву. — И бросил ему пучок.

Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток как заревет, как загрохочет и язык красный из тучи то метнет, то втянет.

Добежал до липки Иван и видит — сидит на земле страшный дед, водит усами…

— Пусти, — кричит Иван, — знаю, кто ты, не хочешь ли этого? — И ткнул водяному в лицо Полынь-травою.

Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.

А Иван в липку бросил Полынь-траву, вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась.

Избушку у озера бросили они и ушли за темный лес — на чистом поле жить, не разлучаться.

И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе — Иван да Марья, Иван да Марья.

Ведьмак



На пне сидит ведьмак, звезды считает когтем — раз, два, три, четыре… Голова у ведьмака собачья и хвост здоровенный, голый.

…Пять, шесть, семь… И гаснут звезды, а вместо них на небе появляются черные дырки. Их-то и нужно ведьмаку — через дырки с неба дождик льется.

А дождик с неба — хмара и темень на земле.

Рад тогда ведьмак: идет на деревню людям вредить.

Долго ведьмак считал, уж и мозоль на когте села.

Вдруг приметил его пьяненький портной: «Ах ты, — говорит, — гад!» И побежал за кусты к месяцу — жаловаться.

Вылетел из-за сосен круглый месяц, запрыгал над ведьмаком — не дает ему звезд тушить. Нацелится ведьмак когтем на звезду, а месяц — тут как тут, и заслонит.

Рассердился ведьмак, хвостом закрутил — месяц норовит зацепить и клыки оскалил.

Притихло в лесу. А месяц нацелился — да как хватит ведьмака по зубам…

Щелкнул собачьей пастью ведьмак, откусил половину у месяца и проглотил.

Взвился месяц ущербный, свету невзвидел, укрылся за облако.

А ведьмак жалобно завыл, и посыпались с деревьев листочки.

У ведьмака в животе прыгает отгрызенный месяц, жжет; вертится юлой ведьмак, и так и сяк — нет покоя…

Побежал к речке и бултыхнулся в воду… Расплескалась серебряная вода. Лег ведьмак на прохладном дне. Корчится. Подплывают русалки стайкой, как пескари, маленькие… Уставились, шарахнулись, подплыли опять и говорят:

— Выплюнь, выплюнь месяц-то.

Понатужился ведьмак, выплюнул, повыл немножко и подох.

А русалки ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину.

На дне речки стало светло, ясно и весело.

А месяц, что за тучей сидел, вырастил новый бок, пригладился и поплыл между звезд по си-

нему небу.

Не впервые ясному бока выращивать.

Водяной



Лежит на возу мужик, трубочку посасывает — продает черного козла. А народу на ярмарке — труба нетолченая.

Подходит к мужику седой старец, кафтан на нем новый, а полы мокрешеньки.

— Ишь, угораздило тебя на сухом месте измочиться, — сказал мужик.

Поглядел старец из-под косматых бровей и спрашивает:

— А ты пустяки не говори; продажный козел-то?

— Не для себя же я козла привел; продажный.

Сторговались за три рубля, старик увел козла, а мужик принялся в кисет деньги совать и видит — вместо трешницы лягушиная шкурка.

— Держите его, православные! — закричал мужик. — Водяной по ярмарке ходит!

Собрался народ: стали шуметь, рукавицами махать; мужика в волостную избу повели; про-

держали весь день и выпустили; и пошел он в сумерки домой, а дорога — лесом. Вдруг видит мужик: идет его козел, крутые рога опустил, топает ножками, а на нем верхом чучело сидит зеленое, рачьи усы растопыркой, глаза плошками.

Проехало чучело, ухватило лапой мужика, посадило с собой рядом; помчались к озеру да с кручи вместе — прыг в воду, очутились на зеленом дне.

— Ну, — говорит ему чучело, — народ мутить, меня ловить будешь али нет?

— Нет, уж теперь мне, батюшка водяной, не до смеху.

— А чем ты себя можешь оправдать, чтобы я тебя сейчас не съел?

— Мы народ рабочий, — отвечает мужик, — поработаю на тебя.

— А что делать умеешь?

— Неученые мы, батюшка водяной, только баклуши и бьем.

— Хорошо, — говорит водяной, — бей баклуши… — и ушел.

Стал мужик из осиновых чурбанов баклуши бить, сам плачет, рыдает. Много набил, целую кучу. Пришел водяной и удивился:

— Ты что это вытворяешь?

— Баклуши бью, как вы приказали.

— А на что мне баклуши?

Почесал мужик спину:

— Ложки из них делать.

— А на что мне ложки?

— Горячее хлебать.

— Ах ты дурень, ведь я одну сырую рыбу ем. Ни к чему ты, мужик, не годишься. Держись.

Щелкнул водяной мужика по маковке и обернул его в ерша.

Потом усы раздвинул, рот раскрыл и стал ерша заглатывать. А мужик, хоть и в ерша перевернулся, и тут угодить не мог; уперся водяному поперек горла щетиной. Закашлял водяной, задавился, вытащил ерша и выкинул его из воды на берег. Отдышался мужик, встал на ноги, в своем виде, почесался и сказал:

— Ну да, оно ведь это тоже нелегко, с крестьянством-то.

Кикимора



Над глиняным яром — избушка, в избушке старушка живет и две внучки: старшую зовут Моря, младшую Дуничка.

Один раз — ночью — лежит Моря на печи, — не спится. Свесила голову и видит — отворилась дверь, вошла какая-то лохматая баба, вынула Дуничку из люльки и — в дверь — и была такова.

Закричала Моря:

— Бабынька, бабынька, Дуньку страшная баба унесла…

А была та баба — кикимора, что крадет детей, а в люльку подкладывает вместо них полено.

Бабушка — искать-поискать, да, знать, кикимора под яр ушла в омут зеленый. Вот слез-то что было!

Тоскует бабушка день и ночь. И говорит ей Моря:

— Не плачь, бабушка, я сестрицу отыщу.

— Куда тебе, ягодка, сама только пропадешь.

— Отыщу да отыщу, — твердит Моря. И раз, когда звезды высыпали над яром, Моря выбежала крадучись из избы и пошла куда глаза глядят.

Идет, попрыгивает с ноги на ногу и видит — стоит над яром дуб, а ветки у дуба ходуном ходят. Подошла ближе, а из дуба торчит борода и горят два зеленых глаза…

— Помоги мне, девочка, — кряхтит дуб, — никак не могу нынче в лешего обратиться, опояшь меня пояском.

Сняла с себя Моря поясок, опоясала дуб. Запыхтело под корой, завозилось, и встал перед Морей старый леший.

— Спасибо, девка, теперь проси чего хочешь.

— Научи, дедушка, где сестрицу отыскать, ее злая кикимора унесла.

Начал леший чесать затылок… А как начесался — придумал.

Вскинул Морю на плечи и побежал под яр, вперед пятками.

— Садись за куст, жди, — сказал леший и на берегу омута обратился в корягу, а Моря спряталась за его ветки.

Долго ли так, коротко ли, замутился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, поплыла и вылезла на берег кикимо-

ра. На каждой руке ее по пяти большеголовых младенцев — игошей — и еще один за пазухой.

Села кикимора на корягу, кормит игошей волчьими ягодами. Младенцы едят, ничего, — не давятся.

— Теперь твоя очередь, — густым голосом сказала кикимора и вынула из-за пазухи ребеночка.

— Дуничка! — едва не закричала Моря.

Смотрит на звезды, улыбается Дуничка, сосет лохматую кикиморину грудь.

А леший высунул сучок корявый да за ногу кикимору и схватил…

Хотела кинуться кикимора в воду — никак не может.

Игоши рассыпались по траве, ревут поросячьими голосами, дрыгаются. Вот пакость!

Моря схватила Дуничку — и давай бог ноги.

— Пусти — я девчонку догоню, — взмолилась к лешему кикимора.

Стучит сердце. Как ветер летит Моря. Дуничка ее ручками за шею держит…

Уже избушка видна… Добежать бы…

А сзади — погоня: вырвалась кикимора, мчится вдогонку, визжит, на сажень кверху подсигивает…

— Бабушка! — закричала Моря.

Вот-вот схватит ее кикимора.

И запел петух: «Кукареку, уползай, ночь, пропади, нечисть!»

Осунулась кикимора, остановилась и разлилась туманом, подхватил ее утренний ветер, унес за овраг.

Бабушка подбежала. Обняла Морю, взяла Дуничку на руки. Вот радости-то было.

А из яра хлопал деревянными ладошами, хохотал старый дед-леший. Смешливый был старичок.

Дикий кур



В лесу по талому снегу идет мужик, а за мужиком крадется дикий кур.

«Ну, — думает кур, — ухвачу я его».

Мужик спотыкается, за пазухой булькает склянка с вином.

— Теперь, — говорит мужик, — самое время выпить, верно?

— Верно! — отвечает ему кур за орешником…

— Кто это еще разговаривает? — спросил мужик и остановился.

— Я.

— Кто я?

— Кур.

— Дикий?

— Дикий…

— К чему же ты в лесу?

Кур опешил:

— Ну, это мое дело, почему я в лесу, а ты чего шляешься, меня беспокоишь?

— Я сам по себе, иду дорогой…

— А погляди-ка под ноги.

Глянул мужик, — вместо дороги — ничего нет, а из ничего нет торчит хвост петушиный и лапа — кур глаза отвел.

— Так, — сказал мужик, — значит, приходится мне пропасть.

Сел и начал разуваться, снял полушубок.

Кур подскочил, кричит:

— Как же я тебя, дурака, загублю? Очень ты покорный.

— Покорный, — засмеялся мужик, — страсть, что хочешь делай.

Кур убежал, пошептался с кем-то, прибегает и говорит:

— Давай разговляться, подставляй шапку, — повернулся к мужику и снес в шапку яйцо.

— Отлично, — сказал мужик, — давно бы так.

Стали яйцо делить. Мужик говорит:

— Ты бери нутро, — голодно, чай, тебе в лесу-то, а я шелуху пожую.

Ухватил кур яйцо и разом сглотнул.

— Теперь, — говорит кур, — давай вино пить.

— Вино у меня на донышке, пей один.

Кур выпил вино, а мужик снеговой водицы хлебнул.

Охмелел кур, песню завел — орет без толку…

Сигать стал с ноги на ногу, шум поднял по лесу, трескотню.

— Пляши и ты, мужик…

Завертел его кур, поддает крылом, под крылом сосной пахнет.

И очутился мужик у себя в хлеву на теплом назме…

Пришла баба от заутрени…

— Это ты так, мужик, за вином ходил…

— Ни-ни, — говорит мужик, — маковой росинки во рту не было, кур дикий меня путал.

— Хорошо, — говорит баба и пошла за кочергой. Принесла кочергу да вдруг и спрашивает: — Нука повернись, что это под тобой?

Посмотрела, а под мужиком лежат червонцы.

— Откуда это у тебя?

Стал мужик думать.

— Вот это что, — говорит, — кур это меня шелухой кормил… Дай Бог ему здоровья…

И поклонились мужик да баба лесу и сказали дикому куру — спасибо.

Полевик



На току, где рожь молотят, — ворох; ворох покрыт пологом, на пологу — роса. А под пологом девки спят…

Пахнет мышами, и на небе стоит месяц.

По току шагает длинный Полевик, весь соломенный, ноги тонкие…

— Ну, ну, — ворчит Полевик, — рожь не домолотили, а спят.

Подошел к вороху, потянул за полог:

— Эй, вы, разоспались, заря скоро!

Девки из-под полога высовывают головы, шепчут:

— Кто это, девоньки, или приснилось? Никак светает скоро.

Дрожат с холоду, просыпаются. На хуторе за прудом кричат петухи. К молотилке шагает Полевик; под молотилкой, накрывшись полушубками, спят парни.

Постаскал с них Полевик полушубки:

— Вставайте, рожь недомолочёна.

Парни глаза протирают…

— Свежо, ребята, ай вставать пора…

На току ворошится народ, натягивают полушубки да кацавейки, ищут: кто вилы, кто грабли… Холодеет месяц. А Полевик уж в поле шагает.

— Голо, голо, — ворчит Полевик, — скучно.

Ляжет он с тоски в канаву, придет зима, занесет его снегом.

Иван-царевич и Алая-Алица



Скучно стало Ивану-царевичу, взял он у матушки благословение и пошел на охоту. А идти ему старым лесом.

Настала зимняя ночь.

В лесу то светло, то темно; по спелому снегу мороз потрескивает.

Откуда ни возьмись выскочил заяц; наложил Иван-царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-царевич за ним следом побежал.

Летит клубок, хрустит снежок, и расступились сосны, открылась поляна, на поляне стоит белый терем, на двенадцати башнях — двенадцать голов медвежьих… Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна.

Клубок докатился, лунь-птицей обернулся: сел на воротах. Испугался Иван-царевич, — вещую птицу застрелить хотел, — снял шапку.

— Прости глупость мою, лунь-птица, невдомек

мне, когда ты зайцем бежал.

— Меня Алая-Алица, ясная красавица, жижова пленница, за тобой послала, — отвечает ему лунь-птица, — давно стережет ее старый жиж.

— Войди, Иван-царевич, — жалобно прозвенел из терема голос.

По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван-царевич — оскалились медвежьи головы. Вышиб ногой дверь в светлицу: видит — на нетопленой печурке сидит жиж, голова у него медная, глазами ворочает.

— Ты зачем объявился? Или две головы на плечах? — зарычал жиж.

Прицелился Иван-царевич и вогнал золотую стрелу между глаз старому жижу.

Упал жиж, дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя и поняло терем. Иван-царевич побежал в светлицу. У окна, серебряными цепями прикована, сидит Алая-Алица, плачет… Разрубил цепи, взял Иван-царевич на руки царевну и выскочил с ней в окошко.

Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы. Распустились по деревьям клейкие листья.

Откуда ни возьмись прибежали тоненькие,

синие еще от зимнего недоеда, русалки-мавки, закачались на деревьях; пришел журавль на одной ноге; закуковала кукушка; лешие захлопали в деревянные ладоши; позык аукался.

Шум, гам, пение птичье…

И по синему небу раскатился, загрохотал апрельский гром.

И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Алой-Алицей, весенней царевной.

Соломенный жених



Внизу овина, где зажигают теплины, в углу темного подлаза лежит, засунув морду в земляную нору, черный кот.

Не кот это, а овинник.

Лежит, хвостом не вильнет — пригрелся. А на воле — студено.

Прибежали в овин девушки, ногами потопали.

— Идемте в подлаз греться.

Полегли в подлазе, где дымом пахнет, близко друг к дружке, и завели такие разговоры, что стар овинник, а чихнул и землей себе глаза запорошил.

— Что это, подружки, никак чихнуло? — спрашивают девушки.

Овинник рассердился, что глаза ему запорошило, протер их лапой и говорит:

— Ну-ка, иди сюда, которая нехорошие слова говорила!

Каждая девушка на себя подумала, и ни одна

ни с места.

— Ну, что же, — говорит овинник, — или мне самому вылезать?

И стал из норы пятиться…

Тут одна догадливая да бедная, сирота Василиса, взяла ржаной сноп, прикрыла его платком и поставила впереди всех.

— Вот тебе!..

Выскокнул из норы овинник, пыхнул зелеными глазами и стал сноп рвать, а девушки из овина выбежали и — на деревню, а та, что подогадливее, — Василиса — схоронилась за ворох соломы и говорит оттуда:

— Черный кот, старый овинник, что со мной делаешь, — все тело мое изорвал.

Фыркнул овинник, отскочил и кричит:

— Очень я злой, погоди — отойду, тогда разговаривай.

Подождала Василиса и говорит опять:

— Отошел?

— Отхожу, сейчас, только усы вылижу… Ну, что тебе надо?

— Залечи мне раны…

Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу.

А сноп так и остался снопом…

— Так ты меня обманула? — говорит кот, а самому уж смешно.

— Обманула, батюшка, — отвечает ему Василиса, — прости, батюшка, да смилуйся — найди мне жениха, чтобы краше его на свете не было.

— Уж больно я сам-то урод, — говорит овинник. — Ну да ладно. — И ударился о землю, и стал из черного кота — кот белый, и хвостом Василису пощекотал…

— Чем тебе не жених?

— Нет, — говорит Василиса, — за кота замуж не пойду; дай мне жениха настоящего.

Подумал овинник, походил по овину, — мыша походя сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, заурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа — человек.

— Получай жениха, — говорит Василисе овинник. — Смотри — от сырости береги, а то прорастет.

Василиса взяла человека за руку и вывела его из подлаза, из овина на лунный свет. И встал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером. Глядит на Василису и смеется. Василиса поклонилась ему в пояс — и они пошли в избу.

Прошло с той поры много дней. Лег снег на мерзлую землю, завыли студеные ветра, подня-

лись вьюги.

Соломенный жених живет у Василисы, похаживает по горнице, поглядывает в окошечко и все приговаривает:

— Скучно мне, темно, холодно…

И стала Василиса замечать, что жених ее портится, позеленело у него на кафтане и на сапожках золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с кровати, подпоясался и говорит:

— Уйду, Василиса, искать теплого места.

— А я-то как же?..

— Ты меня жди.

И ушел, только снег скрипнул за воротами.

Жених идет, весь от инея белый. Кругом него мороз молоточками постукивает — крепко ли закована земля, не взломан ли синий лед на реке; по деревьям попрыгивает, морозит зайцам уши.

Хочет жених от мороза уйти, а молоточки все чаще, все больнее постукивают, — по жилам, по костям. Остудился жених, а степь бела кругом, ровна.

И повисло над степью, над самым краем солнце, красное и студеное. Жених к солнцу бежит, колпаком машет:

— Погоди, погоди, возьми меня в зеленые луга.

И добежал было. Вдруг выскочил из-под снега

большой, косматый, крепколобый волк, доскакал большим махом до солнца, обхватил его лапами, прижался пузом, — с одной стороны, с другой приловчился и вонзил клыки в алое солнце.

Завизжали, застучали ледяные молотки, потемнела степь, завыл мертвый лес. Соломенный жених бежать пустился, упал в снег и не помнит, что дальше было.

Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. А чтобы он не очень сердился, сунула под нос ему пирог с творогом и говорит:

— Жених от меня убежал, должно быть, замерз, очень жалею его.

— Ничего, — отвечает ей овинник, — жених твой в озимое пошел.

— А я-то как же?

— Найдешь ты жениха в чистом поле, ляг с ним рядом, а что дальше будет — сама увидишь.

Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит — большой сугроб. Разрыла его руками, видит — лежит под снегом жених.

Упала на него Василиса, омочила лицо его слезами; жених не шевелится.

Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее белое небо.

Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, обручи набивают на тело, и говорит Василиса:

— Желанный мой.

И чудится ей — голубеет, синеет небо, и из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова рожденное солнце.

Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая черную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришел важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал.

Проходили мимо добрые люди, сели на меже отдохнуть и сказали:

— Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васильки-цветы…

Душисто…

Странник и змей



Багряное солнце садилось над мерзлым бурьяном, скрипели журавли колодцев, вдова Акулина пела у окошка горемычную песню, а по деревне проходил странник. Полушубок на нем древний, из дыр овчина торчит, лыковая котомка за плечами.

Ни молод странник, ни стар, а взглянешь на него — под усами умильная улыбка, глаза серые, ласковые, смешливые.

Подходит он к Акулининому двору, шапку снял и говорит ласково:

— Скучно тебе, милая?

Увидала странника Акулина, кинулась за ворота.

— Странник божий, взойди, сделай милость.

Взошел странник, сел на лавку. Угощает его вдова, а сама пытает — откуда да куда, не слышал ли про счастье: лежит, говорят, оно в океане, под горючим камнем.

Странник наелся, напился, ложку положил и спрашивает:

— Ну а ты, милая, все — маешься?

Забилась Акулина на лавке.

— Такая маета — сказать не можно: сушит змей белое мое тело, сосет сердце, ночи до утра глаз не смыкаю, а в полночь свистнет над крышей, рассыплется искрами и встанет на дворе — не зверь, не человек…

Улыбается странник, светятся глаза его.

— Силен враг, Акулина, трудно тебе, трудно. А ведь свистнет — опять побежишь?

Заголосила Акулина:

— Страшно мне, ночь придет, сама ко врагу потянусь, а днем руки бы на себя наложила.

Погладил ее по голове странник, и затихла молодая баба.

— Тетенька Акулина, — позвал в окно девичий голосок, — на посиделки тебя кличут, пойдешь?

А там поглубже заглянул любопытный глаз.

— Ты и странника приводи, сказку скажет!

Рассмеялась и убежала, а странник говорит:

— Что же, Акулина, пойдем, куда зовут.

Акулина ушла за перегородку прибираться, а странник у окна запел:

Ходила во синем море,

Ходила белая рыба,
Ходила, била плесом
По тому ли синю морю:
Ты раздайся, синее море,
На две волны, на два берега.
Ты выплесни, выкини
Алатырь, горюч камень.

Слушает, вздыхает Акулина за перегородкой; прибралась, вышла, красивая, глаза мрачные.

— Ну, пойдем, странник. Пришли на посиделки.

А там народу набилось, как грибов в лукошко; тренькают на балалайке, подплясывают, подпевают, шутки шутят, и в сенях, и на лавках, и на печи понабились.

Странника отступили, просят:

— Спой нам, скажи сказку.

Странник сел у двери и запел опять про то же:

Ходила во синем море,
Ходила белая рыба.

Пригорюнились девицы, подсели к парням. Кто с печи голову свесил, кто с полатей. Расселись парами — стало тихо. Одна Акулина без друга, как куст обкошенный. Сдвинула брови, белая кипень, стоит посреди избы, под сарафаном грудь

ходуном ходит.

— Акулина, Акулина, обойдись, — говорит странник.

А у нее глаза уж как озеро. Дрожит дрожью.

В это время просвистел за окном змеиный свист.

Дрогнула Акулина и — к двери.

— Не ходи, Акулина!

— Пусти!

Выскочила на улицу; странник за ней и схоронился в сенях. Акулина стала посреди двора и шепчет:

— Лети… лети.

И со свистом, как от тысячи птиц, закружился над двором черный змей, раскинул крылья, опустился на снег.

Встал на лапы, лебединую голову протянул к Акулине и языком облизнул ей белое лицо.

А странник подкрался, оттолкнул Акулину да змея по голове лестовкой и ударил.

Взметнулся змей и рассыпался просом, а странник петухом обернулся зерна клевать.

Не дала ему, упала на петуха Акулина, ухватила за крылья и в избу поволокла.

— Оборотень, — закричала Акулина, — рубите ему голову!

Петух вырвался — да под лавку, крыльями бьет, в руки не дается.

Заметался народ по избе, петуха ловят. Поймали, у Акулины и топор в руках.

— Клади его на порог!

Вытянули за голову, за ноги петуха. Размахнулась Акулина топором… Да так и застыла у нее рука.

Пропали стены. Вместо девушек — березы в инее, парни — ели, а Акулина — ива плакучая, вся в сосульках.

На пне сидит странник. Улыбается, сияют серые глаза. Возле на снегу лежит петушиное перо.

Поднял странник перо, пустил по ветру, сказал:

— Лети, перышко, где сядешь, туда и я скоро приду; много еще мне исходить осталось, увертлив змей, не пришло его время.

Проклятая десятина



Клонит ветер шелковые зеленя, солнце в жаворонковом свисте по небу летит, и от земли идет крепкий, ржаной дух.

Одна только невсхожая полоса с бугра в лощину лежит черной заплатой десятина бобыля…

У десятины стоит бобыль; ветер треплет непокрытую его голову.

— Эх, — говорит бобыль, — третий год меня мучаешь, проклятая! — Плюнул на родную землю и пошел прочь.

Проходит неделя. В четверг после дождя встречает бобыля шабер и говорит ему:

— Ну, брат, и зеленя же у тебя, — все диву даемся, ужо заколосятся…

— Врешь! — сказал бобыль… И побежал на свою десятину.

Видит — выпустили зеленя трубку, распахнули лист, и шумит усатый пшеничный колос.

На чудо не надивуется бобыль, а кошки сердце

поскребывают: зачем проклинал родную землю.

Собрал бобыль урожай сам-тридцать; из пудовых снопов наколотил зерна, и муку смолол, и замесил из первого хлеба квашню, и лег подремать на лавке…

Ночь осенняя бушевала ледяным дождем, хлопали наотмашь ворота, выл в трубе ветер.

В полночь поднял бобыль голову и видит — валит из квашни дым. Надувшись, слетела покрышка, и поползло через края проклятое тесто, рассыпалось на полу землей…

Смекнул бобыль, что с мукой-то неладно, повез мешки в город к старому пекарю…

Пекарю муку эту продал, деньги зашил в шапку; потом шапку распорол и деньги все пропил, и, когда домой собрался, не было у него ни денег и ни подводы, — один нос разбитый.

Пекарь в то же время замесил из бобылевой муки кренделя, поставил в печь и, когда пришло время, — вытащил на лопате не подрумяненные кренделя, а такие завитуши и шевырюшки, что тут же обеспамятел и послал жену к дворянину продать муку за сколько даст.

Дворянин сидел в саду, одной рукой держал наливное яблочко, другой писал записки.

— Что тебе, милая? — сказал дворянин тонким

голосом и прищурился.

— Насчет пшеничной муки, — сказала пекарева жена, — старик-то мой больно плох…

Купил дворянин в долг проклятую муку и пригласил детей дворянских пирожки с вареньем кушать.

Под сиреневым кустом сели дворянские дети, взяли каждый по пирожку и откусили, а в пирожке лапти — крошеные, старые онучи, щепки, — всякая дрянь.

Побросали дворянские дети пирожки и подали на дворянина в суд.

Прослышал про все это дело король и сказал:

— Я их всех сам буду судить.

И встали перед светлые его очи: дворянин, пекарь и бобыль… Бобыль как встал, так и глаза разинул и босой ногой почесал ногу.

Король велел объявить все как было. Выслушал. Державой и скипетром потряс и говорит:

— Проклял ты, бобыль, родную землю, и за то тебе будет наказание великое.

И приказал мужика отвести вместе с мукой на проклятую десятину, чтобы всю муку приел… Так и сделали… Посадили бобыля посреди его земли и ковшом в рот стали муку сыпать. Три раза попросил бобыль водицы, целую меру приел.

Приел, и распучило. Руки растопырились и одеревенели, через колени на землю поплыл живот, и полезли из бобыля шипы, а волосы стали дыбом, как репей.

Кругом бобыля порос густой и непролазный бурьян по всей десятине.

И долго спустя слышали в колючих порослях — жевало и ухало: то, сидя на земле, ел и проесть не мог проклятую муку проклятый бобыль.

Звериный царь



У соседа за печкой жил мужичок с локоток.

Помогал соседу кое-чем, понемножку. Плохое житье на чужих хлебах.

Взяла мужика тоска, пошел в клеть; сидит, плачет. Вдруг видит — из норы в углу высунулась мордочка и повела поросячьим носом.

«Анчутка беспятый», — подумал мужичок и обмер.

Вылез анчутка, ухо наставил и говорит:

— Здравствуй, кум!

«Какой я ему кум», — подумал мужичок и на случай поклонился.

— Окажи, кум, услугу, — говорит анчутка, — достань золы из-под печки; мне через порог перейти нельзя, а золы надо — тещу лечить, — плоха, объелась мышами.

Мужичок сбегал, принес золы, анчутка его благодарит:

— За службу всыплю я тебе казны, сколько в

шапку влезет.

— На что мне казна, — отвечает мужичок, — вот бы силой поправиться!

— Это дело пустое, попроси звериного царя…

И научил анчутка, как к звериному царю попасть и что говорить нужно.

Мужичок подумал — все равно так-то пропадать, и полез в крысиную нору, как его учили.

Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз — конца не видно, и вдруг полетел вниз, в тартарары. Встал, почесался и видит: вода бежит и привязана у берега лодочка — с малое корытце.

Сел мужичок в лодочку, отпихнулся и завертелся, помчался — держи шапку.

Над головой совы и мыши летают, из воды высовываются такие хари — во сне не увидишь.

Наконец загорелся свет, мужичок пригреб к берегу, выпрыгнул на траву и пошел на ясное место. Видит — высоченное дерево шумит, и под ним, на семи шкурах, сидит звериный царь.

Вместо рук у царя — лопухи, ноги вросли в землю, на красной морде — тысяча глаз.

А кругом — звери, птицы и все, что есть на земле живого, — сидят и на царя посматривают. Увидал мужичка звериный царь и закричал:

— Ты кто такой? Тебе чего надо?

Подошел мужичок, кланяется:

— Силешки бы мне, батюшка, звериный царь…

— Силу или половину?

— Осьмухи хватит.

— Полезай ко мне в брюхо!

И разинул царь рот, без малого — с лукошко.

Влез мужичок в звериный живот, притулился, пуповину нашел, посасывает. Три дня сосал.

— Теперь вылезай, — зовет царь, — чай, уж насосался.

Вылез мужичок, да уж не с локоток, а косая сажень в плечах, собольи брови, черная борода.

— Доволен? — спрашивает царь. — Выйдешь на волю, поклонись чистому полю, солнцу красному, всякому жуку и скотине.

И дунул. И подхватили мужика четыре ветра, вынесли к мосту, что у родного села.

Солнце за горку садится, стадо гонят, идут девки… Подбоченился мужик и крикнул:

— Эй, Дунька, Акулина, Марья, Василиса, аль не признали?

Девки переглядываются.

А мужик тряхнул кудрями.

— Теперь, — говорит, — пир горой, посылай за свахой. Я теперь самого звериного царя меньшой сын.

Девки так и сели. А мужик выбрал из них самую румяную да на ней и женился.

Хозяин



В конюшне темно и тепло, жуют сено лошади, стукнет по дереву подкова, цепь недоуздка зазвенит или скрипнет перегородка — караковый почесался.

В узкое окно влезает круглый месяц.

Лошади беспокоятся.

— Опять подглядывает месяц-то, — ржет негромко вороной, — хоть бы козел пришел, — все не так страшно.

— Козла «хозяин» боится, — сказал караковый, — а месяц сам по себе, его не напугаешь.

— Куда это козел ушел? — спросила рыжая кобыла.

— На плотину, в воду глядеть.

Кобыла храпнула:

— К чему в воду глядеть? Одни страсти.

— Страшно мне, — зашептал вороной, — месяц в окно лезет. Схватить его разве зубами?

— Не трогай, — ответил караковый, — захро-

маешь.

Кобыла жалобно заржала.

В конюшне — опять тихо. На сеновале возятся мыши. Захрапел вдруг, шарахнулся вороной, копытами затопал.

— Смотрите, смотрите, месяц-то, — зашептал он, — и рога у него, и глаза.

Дрогнул караковый.

— А борода есть?

— И борода веником.

Караковый захрапел:

— «Хозяин» это, берегись.

Вдруг клубком из окошка скатился в стойло вороному старичок и засмеялся, заскрипел.

Вороной стал как вкопанный, мелкой дрожью дрожит.

Рыжая кобыла легла со страха, вытянула шею.

Караковый забился в угол.

— Вороненький, соколик, — заскрипел «хозяин», — гривку тебе заплету, — боишься меня? А зачем козла звал?.. Не зови козла, не пугай меня… — и, с вывертом, с выщипом, ухватил вороного.

Вороной застонал.

— Стонешь? Не нравится? А мне козлиный дух нравится!.. Идем за мной.

Старичок отворил дверь и вывел за гриву вороного на двор.

— Голову-то не прячь, — скрипнул он и ущипнул за губу.

Вспрыгнул на холку, и помчались в поле. Караковый подбежал к окну.

— Ну и лупят… пыль столбом… под горку закатились. Смотри-ка. На горку вскакнули, стали; «хозяин» шею ему грызет; лягается вороной; поскакали к пруду.

В конюшню вошел козел и почесался.

— Гуляешь, — крикнул козлу караковый, — а вороного «хозяин» гоняет.

— Где? — спросил козел басом.

— У пруда.

Опустил козел рога и помчался…

Перебежал плотину, стал — кудластый, и пошел от козла смрад — в пруду вода зашевелилась, и отовсюду, из камышей, из-под ветел, повылезла вся нечисть болотная, поползла по полю, где вороной под «хозяином» бился.

Заблеял козел.

И от этого «хозяин» на лошади, как лист, забился, ноги поджал.

Подползает нечисть, блеет козел.

Побился, покружился «хозяин» и завял, сва-

лился с коня. Ухватили его лапы, потащили в пруд. А вороной, оттопырив хвост, помчался в конюшню. Прибежал в мыле, захрапел, ухватил сено зубами, бросил и заржал на всю конюшню:

— И как только я жив остался!

А спустя время пришел козел и лег в сено.

— Ноги у меня отнялись, — стонала рыжая кобыла.

Караковый положил морду на шею вороному, а козел чесался — донимали его блохи.

Синица



Утром рано, на заре, до птиц, пробудилась княгиня Наталья. Не прибираясь, — только накинула белый опашень, — отомкнула дверь из светлицы и вышла на мокрое от росы крыльцо.

Ничего не жалел для Натальи, для милой своей хоти, князь Чурил: выстроил терем посреди городища, на бугре между старых кленов; поставил на витых столбах высокое крыльцо, где сидеть было не скучно, украсил его золотой маковкой, чтобы издалека горела она, как звезда, над княгининой светлицей.

В тереме зачала Наталья и родила хозяину сына Заряслава. Было ему ныне три зимы и три лунных месяца. Любил князь жену и сына и шумного слова им не сказал во всю бытность.

Городище стояло на речном берегу, обнесенное тыном, рвом и раскатами. Внутри, дым к дыму — срублены высокие избы. И выше всех — восьмишатровый красный княгинин терем.

Бывало, плывут по реке в дубах торговые люди, или так — молодцы пограбить, завалятся у гребцов колпаки, глядят: город не город — диво, — пестро и красно, и терем, и шатры, и башни отражаются в зеленой воде днепровской, — и начнут пригребаться поближе, покуда не выйдет на раскат князь Чурил, погрозит кулаком. Ему кричат:

— Ты, рвана шкура, слезай с раската, давай биться!

И пошлют смеха ради стрелу или две.

Далеко шла слава про князя: сорок воинов стоит у его стремени; одни — сивые, в рубцах, вислоусые руссы, северные наемники, побывавшие не раз и под Цареградом; другие — свои, поднепровские, молодец к молодцу, охотники и зверобои. Богат, хорошо нагорожен город его Крутояр.

Ныне князь отъехал по зверя. В городище бабы остались с ребятами да старики. Шуму нет, тихо. Княгиня Наталья прислонилась непокрытой головой к столбу, сидит и слушает. Внизу журавель заскрипел — сонная девка тянет из колодца воду; собрались воробьи на огороде, зачирикали — собираются по ягоду; идет поперек улицы собака с мочалой на шее, стала и давай зевать; птицы и птички пробуждаются, не смеют еще петь до

солнца, голоса пробуют, голос подают; заиграл рожок у северных ворот, замычали коровы, потянуло дымком. И заря за речкой обозначилась сквозь речные туманы бледными, алыми, водянистыми полосами. Сильная сегодня роса! А уж кукушка из лесу — ку-ку.

Княгине охоты нет пошевельнуться, точно сон оковал ее. Поднялась рано, сама не знает зачем, и все ей грустно — и глядеть и слушать. Так бы вот и заплакала. А с чего? Князя ли заждалась? Третий день по лесам скачет. Сына ли жалко — уж очень беленький мальчик. Мило ей все и жалко.

Княгиня в углу крыльца нагнула каменный рукомойник, омыла лицо, взглянула еще раз на кровли и башенки Крутояра, на реку, проступающую синей-синей водой из-под тумана, и вошла назад в сонную, теплую светелку.

В колыбели спал княжич, выпростал руки поверх одеяла, дышал ровно, хорошо, так весь и заливался румянцем.

Княгиня присела на лавку, опустила голову на колыбель, и слезы полились у нее. Плачет и сама шепчет:

— Вот уж с большого-то ума.

И такою жалостью залюбила сына, что душа ее поднялась, окутала колыбель, прильнула к

спящему, а тело оцепенело. На молодую княгиню напал глубокий, непробудный сон.

И не услышала она, как вдруг начали кричать птицы, садясь на крышу: «Проснись, проснись», как завыли, заскулили собаки по всему городищу, захлопали ставни, побежал куда-то народ, как у всех четырех ворот забили в медные доски, и пошла тревога: «На стены, на стены!»

Большое тусклое красное солнце поднялось в клубах тумана, и народ со стен, дети, старики, — увидали великую силу людей, малых ростом, с рыжими космами, в шкурах: Чудь белоглазую. Пробиралась Чудь от дерева к дереву, окружала городище, махала дубинками и с того берега плыла через реку, как собаки.

— На стены, на стены! — звали старики, тащили на раскаты бревна, камни, в колодах горячую воду.

— Чудь идет, Чудь идет! — выли бабы, мечась, хороня ребят в клети, в погреба, зарывали в солому.

А Чудь уже лезла через тын, карабкалась на раскаты, визжала. В замковую башню-детинец кидала стрелы, камни, паклю горящую. И задымился угол у башни, и закричали:

— Огонь! Лихо нам!

Били с раскатов Чудь, долбили по башкам, порошили песком в глаза, обливали варом, пыряли шестами. А те только орали шибче. Лезли, падали, опять лезли, как черви. Да и где было справиться с белоглазыми одним старикам да малолеткам. Одолел враг, добрался до раскатов. Покидали защитников, и разбежалась Чудь по городу, и начался другой клич — бабий и детский.

Потоптали в ту пору, побили много народа, остальных погнали за стены на луг. Рвали на бабах рубахи. Было горе.

С четырех концов пылал Крутояр, брошенный на поток. Из огня тащили одежду, птиц, поросят, малых детей. Ярилась Чудь. Многие сами погорели, волоса попалили. И добрались до княжьего терема.

Но высок был тын кругом, и ворота крепки. Ударили в них бревном — не поддались. И головни, искры, солому так и крутило, обдавало жарким дымом. И занялся терем, задымил.

Тогда с долгим стоном пробудилась княгиня Наталья, повела очами, дико ей стало, кинулась к окну — дым в лицо пахнул, глаза выел. Схватила княжича, прикрыла его платком: «Заряслав, сын милый, спи, спи, батюшка» — и выбежала на крыльцо и обмерла.

Внизу трещало, било пламя, дымили крыльца, занимался огонь под крышей. А кругом все маковки, крыши, избы, шатры — в огне. Дым бьет высоко и стелется над Днепром. И еще видит княгиня — над тыном поднялись плоские рыла, кажут на нее, скалятся.

И было ей тошно от смертного часа.

Заряслав забился на руках, заплакал, рвет с лица покрывало. В спину дунуло жаром. И у княгини захватило дух, стало горячо на душе. Подняла она сына, положила руки его на одно плечо свое, на другое ноги, вдохнула в последний раз запах милый и человеческий и кинулась с высокого терема. И убилась! И мертвыми руками все еще держала Заряслава, не дала ему коснуться земли. Наскочили чудинцы, вырвали княжича, понесли на луг, пялили зенки на мальчика, кукиши совали ему, а не тронули, чтобы живым отнести к жрецу своему в Чудь, на озеро.

Легкою бабочкою вылетела душа княгини Натальи из разбитого тела. И раскрытые ее глаза, еще подернутые мукой, озираясь, видели голубой свет, переливающийся, живой и животворящий. Радостней, радостней, выше становилось душе. Чаще, зорче глядели глаза. И вот слышимы стали звуки, звоны, шумы, звенения, глухие раскаты,

грохоты. Трепетал весь свет в бездне бездн. Роились в нем водянистые пузыри, отсвечивали радужно и, звуча и звеня, сливались в вихри, бродили столпами.

И вот уже трепещет душа. Нестерпимо глазам от сияния, от радостного ужаса: покрывая все звуки, весь свет, по всей широте шумит весенним громом голос: «Да будет жизнь во имя мое».

Так мчится к Господу светлая душа княгини Натальи. Но чем ближе ей, слаще, радостней — тем пронзительней боль, как жало невынутое. Зачем боль? О чем память? И глубже входит жало, и тяжелеет душа, глохнет, слепнет, и глаза снова подергиваются смертной любовной пеленой. На землю опускается душа княгини, на пепелище. Как жернов — любовь. Где Заряслав? Где сын милый?

Белоглазая Чудь возвращалась на свое озеро без троп и следов, скорее бы только ноги унести. Волокли добычу. Гнали полонянок с детьми. Княжича тащили в плетеном пещуре. Шли день, и ночь, и еще день, и настала вторая ночь — темная. Погони теперь не страшно, и Чудь полегла во мху, запалила костры от диких собак, что, учуяв поживу, подвывали по зарослям.

Колдун, старикашка гнусный, залез в горелый

пень, бормотал заклятья. Кишмя здесь кишела нежить и нечисть, хоронилась за стволы, кидалась в траву, попискивала, поерзывала. То чиркнет глазом, то лапой тронет, а то уйдет колом в землю, а вынырнет в омуте, посреди болота, состроит пакость и начнет хмыкать, хихикать.

Не любила Чудь смеха и шуток таких. Молчали, мясо вяленое ели, остерегались. Полонянки давно уж плакать перестали, вволю приняли горя. Один Заряслав спал спокойно в пещуре: тепло укрыла его княгиня Наталья сладким сном.

Укрыла и сама понеслась клочком тумана по лесу над мхами и омутами, сквозь тяжелые от влаги деревья. Вверху за сучьями вызвездило, скоро и заря. Из-под вывороченной коряги высунул нечесаную морду леший и спрятался; на бугорке у норы лиса с лисятами увидала летящее облако, сморщила нос и зевнула, завиляла хвостом.

А вот и стреноженные кони фыркают, щиплют траву. Вповалку, завернутые с головой в попоны, спят воины. Князь Чурил лежит, опершись локтем о седло; суровые глаза его открыты, думает; проснулся перед зарей, отер усы от росы и задумался о славе своей, о былых сечах, о том, что нет ни у кого ни города такого, ни жены такой, ни сына. От этих дум заворочался Чурил: «Все ли

ладно дома?»

И видит — стелется у ног облачко. «Сыро, — думает, — кольчуга проржавеет», — и потянул на себя попону. А сон летит с глаз: «От двора далеко отъехали, как бы не было чего злого?» Мочи нет. Поднялся Чурил, подтянул ремень на животе:

— Эй, ребята, заспались, заря скоро!

Зачесались воины, поскидали попоны, разбрелись за конями. Оседлали. Тронулись.

Чурил едет впереди, шагом. Совестно перед ребятами: заладились охотиться недели на две, а сейчас глаза бы не глядели на зверя. Сесть бы в княгининой светелке, Заряслава на руки взять… Милее жизни жена, милая Наталья.

Воины ворчат: едет князь дуром, сучья дерут лицо, лунь-птица из-под коня шарахнулась, запуталась в кустах, застучала клювом:

«Эй, князь, спишь, что ли?»

Плывет, стелется облаком перед Чурилой княгиня Наталья, манит, мается. Рвут кусты легкое тело. Нет, не слышит князь, не чувствует. Усы закрутил. Осадил коня, оперся рукой о круп, говорит дружинникам, чтобы шли в заезд на тура, что давеча навалил густо валежнику у озера.

И княгиня отлетела от Чурила, понеслась по лесу, окинула взором чащобы, видит — лежит

олень рогатый, морду опустил в мох, дремлет. И вошла в него, в сонного, похитила его тело, подняла на легкие ноги и оленем помчалась навстречу охотникам.

— Стой, — говорит Чурил, — большой зверь идет. — Подался с конем в кусты, отыскал в колчане стрелу поострее, вложил в самострел и, упершись в стремена, натянул тетиву.

С шумом раздвигая кусты, выскочил олень. Стал, дрожа дрожью. Крупный самец! Рога как ветви. Эх, жаль, темно, — не промахнуться бы. И князь чувствует — глядит на него олень в ужасе, в тоске смертной.

И только начал поднимать самострел — шарахнулся олень, побежал нешибким бегом, не мечась, только голову иногда обернет к погоне. Умный зверь.

И сорок рогов затрубило по лесу. Го-го-го, — отозвалось далеко. Затрещал от топота валежник. Закричали сонные птицы. Воронье поднялось, закаркало. Стало светать.

Скакали долго. Кони вспенились. Княгиня Наталья видит — близко, близко, вон там, за оврагом, залегла Чудь, может, уж и снялась со стана, заслышав рога. Не погубили бы Заряслава. Поспеть бы. И повернула к оврагу. И заметалась: впереди,

пересекая путь, выскочили всадники, окружили, машут копьями. Чурил поднял самострел, приложил к ложу худое, свирепое, любимое лицо.

«Остановись, остановись!» — так бы и крикнула Наталья. И резкий звериный вопль сам вылетел из груди. Запела стрела и впилась под лопатку у сердца. Олень осел на колени. Засмеялся князь. Вынул нож, лезет с седла, чтобы пороть зверя. Идет по мху. Споткнулся. Княгиня глядит на мужа глазами, полными слез. Чурил взял ее за рога, пригнул голову.

И чуда не было еще такого за всю бытность: олень, пронзенный стрелой, до самых перьев ушедшей в сердце, поднялся, разбросал рогами охотников, побежал, шатаясь, шибче, шибче, спустился в овраг, скачками поднялся на ту сторону, стал и глядит опять. Смотрит.

Усмехнулись в усы старые воины.

— Легка твоя стрела, князь, уйдет зверь.

Лихая досада! И опять поскакала охота.

Олень тяжелым уже скоком выбежал на поляну. Повсюду дымятся костры, раскиданы кости, тряпье. И за красные сосновые стволы хоронятся какие-то людишки, удирают.

— Чудь, Чудь! — закричали воины.

Здесь олень зашатался, опустил рога в мох

и рухнул. Черная кровь хлынула из морды. И вылетела душа княгини, замученная второю смертью.

Чурил глядит на зверя. Дико ему на душе. Подскакал старый воин.

— Князь, князь, — говорит, — не твоей ли княгини эта кика? — и поднял копьем с земли рогатую, шитую золотом кику, что сняли чудинцы с волос Натальи.

Зашатался князь в седле. Кровь кинулась в голову, помутила ум. Сорвал рог с плеча, затрубил, швырнул его далече и сам впереди, а за ним сорок дружинников кинулись в угон за обидчиками. Порубили отсталых и настигли всю бегущую кучей Чудь, окружившую полонянок и добычу.

Много Чуди желтоволосой. Большая будет битва. Стали воины ругаться с врагами, кричат:

— Выходи, белые глаза! Подтягивай портки!.. Молись своему паршивому богу!..

Ихний колдун, став на камень, поднял на руках Заряслава, погрозился, что живым не отдаст, если княжьи начнут драку. Тогда Чурил прыгнул с коня и, прикрываясь локтем кольчужным от стрел, пошел биться. Наскочила на него Чудь. Завизжала Чудь. На выручку кинулись дружинники, пешие и конные. Запели стрелы. Начались

крики. Лязгало железо. Хватались грудь о грудь. Была великая сеча.

С ножом, поворачиваясь, стряхивая наседающих, весь испоротый, исколотый, лез князь, как тур, добирался до колдуна.

Три раза отбрасывали Чурилу. Колдун, выставив бороду, бормотал, плевался, запакостился от страха. Все же князь достал его рукой и умертвил на месте. И стоял идолом каменным над сыном. Выдергивал из себя стрелы. Убивал каждого, кто совался.

До полудня шла битва. Десять дружинников легло в ней смертью, а врагов не считали, и Чудь побежала, но немногие ушли через болота.

Дружинники стали кликать, собирать полонянок. Стали узнавать, кто жену, кто сына. Качали головами, хмурились. И вернулись все — воины, женщины, дети — гурьбой на поле сечи, где бродили кони, торчали стрелы, шлемы валялись, люди убитые.

Князь Чурил лежал мертвым, с лицом суровым и спокойным, в руке зажат меч. Около него был мальчик, Заряслав. Над ним летала малая птица. Кружилась, попискивала, садилась на ветвь, трясла перьями, разевала клюв.

Княжич, глядя на птицу, улыбался, ручкой

норовил ее схватить. На ресницах Заряслава, на щеках его горели, как роса, слезы большими каплями.

Старейший из воинов взял княжича на руки и понес. Павших положили на коней, тронулись в обратный путь к Днепру, на пепелище. Впереди несли Заряслава, и птица, синяя синица, увязалась вслед. Ее не отпугивали — пусть тешится молодой князь. Шли долго.

У пепелища погребли усопших и замученных. Над водою, на высоком бугре, в дубовой, крытой шатром, домовине легли рядом князь Чурил с княгиней Натальей. Далеко под ногами их расстилался ясный синий Днепр, широко раскинулись луга, лесистое, озерное понизовье.

Близ могил стали строить новое городище, где быть князем Заряславу. Зазывали на подмогу вольных людей да пропивших животишки варягов. Осенью бегали за золотом к хазарам в степи.

Заряславу разбили лучший шатер, покуда к заморозкам дыму не срубят. Мальчик глядел, как строили город, как пищу варили, как вечером большие люди садились над рекою, пели песни.

Женщины жалели мальчика, дружинники говорили: славный будет воин. Да что в том? Чужой лаской горечи не избудешь.

И одною утехою была Заряславу синяя синица. Совсем ручная. Ест ли мальчик, она — скок и клюнет из чашки. Играет ли, бродит ли по лугу — птица порхает около, на плечо сядет или падет перед Заряславом в траву, распушит крылья и глядит, глядит черными глазами в глаза. А то и надоест, — отмахнется от нее: ну что пристала?

И не знает Заряслав, что в малой, робкой птице, в горячем сердце птичьем — душа княгини Натальи, родной матушки.

Прошла зима, снова зазеленели бугры и пущи, разлился Днепр, поплыли по нему, надувая паруса, корабли с заморскими гостями. Затрубили рога в лесах. Зашумели грозы.

Заряслав рос, крепкий становился мальчик. Играл уже отцовским мечом и приставал к дружинникам, чтобы рассказали про битву, про охоты, про славу князя.

А когда женщины гладили его по светлой голове, жалея, что растет без матушки, — отталкивал руку.

— Уйди, — говорил, — уйди, а то побью, я сам мужик.

Однажды он побился с товарищами и сидел на крыльце сердитый, измазанный. Подлетела синица, покружилась и, чтобы заметил ее мальчик,

вдруг прилегла к его груди, прижалась к тельцу.

— Ну вот, нашла время!

Взял Заряслав птицу и держал в кулаке и думал, как бы ему подраться еще с обидчиками, а когда разжал пальцы — в руке лежала птичка мертвая, задушенная.

Богатырская будет сила у молодого князя.

Так и в третий раз умерла княгиня Наталья светлой и легкой смертью.

Все было исполнено на земле.

Орест Сомов. Русалка. Малороссийское предание



Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в *дрибушки,* отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками, большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Ки-

таевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше как вешняя птичка и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях *за гонор*, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по *сагам* днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов,

ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев

на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан… — Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись, — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, — берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?.. А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые

замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание Божие за грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо

ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что-то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время

легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их горючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая

Фенна, мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила… Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из

могилы, — и слушай: ты плачешь и тоскуешь о дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, *пан-отче*! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу…

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу… — Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет *зеленая неделя*, — продолжал старик, — в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы

она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет…

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. В последний день *зеленой недели,* когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы.

Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на *зеленой неделе* и снова погрузиться в подводные наши селения… Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем

никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами… Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь…

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она реши-

лась ждать во что бы ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь со своей ужасною гостьей; но скрепя сердце она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и неволь-

но взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою… и след ее пропал!

Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.

На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что *покойника*

русалки защекотали.

Орест Сомов. Кикимора. Рассказ русского крестьянина на большой дороге



Вот видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки… А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму…

— Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

— Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку… Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что

мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости; в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец — видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к Богу прибежная, хаживала в церковь Божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей

удаче и благодарили Господа Бога за его Божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что, хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда со старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю

ночь напролет… Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки — превеликая и претолстая кошка, крупнее самого ражего барана, серая, с мелкими белыми крапи-

нами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо нее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу со страшными железными когтями, которые как серпы высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был

поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

— А разве крестьяне ему не верили?

— Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодице, летает по ночам огненный змей; а батька Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей — не змей, а… не припомню, как он величал его: что-то похоже на *мухомор*; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.

— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фад-

дей!

— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как вашей милости угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин, — промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. — Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед Богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству. *Вот-он* Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще *господин фон-барон*. Этот *фон-барон* был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами

и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света… Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у *Вот-он* Ивановича было *много в носу*; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с

поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич со старухою пустились в барский двор, где жил тогда *Вот-он* Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к *Вот-он* Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большой кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, — и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом

языке, — ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынесть из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку,

никто ее за тем ни видал, ни слыхал; а с этих пор, видно, ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками… Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить Бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что Господь Бог наградил вас своею милостью:

дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово». — «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа. — Посадили к нам, знать недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». — «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только Богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет». — «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна. — Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». — «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни… Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно… Запрягите вы дровни четом, да не парой…» — «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес, — отвечала ему старуха нищая, — не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю,

и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: „Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!“ Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет». Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их одни к другим бечевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою.

Весь домашний скарб был переворочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась середи двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все не смигивая смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и закостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского

наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеням; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями

со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса…

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ощетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы

то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

— Радуюсь и поздравляю вашу деревню… А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех

пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

— Вестимо так!

— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку… Так она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небыли-

цу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и таким образом она переходит от старшего к младшему… Вот и вся истерия твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня бог от нее…

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

Орест Сомов. Оборотень. Народная сказка



«Это что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок…» Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас, мило-

стивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинуясь свойственной полу ее причудливости, пущу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то *новым, небывалым*; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменых (по крайней мере, клеймом гения), но всегда печатных, — что если б мыши и моль не составили против них своей Santa Hermandad, то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а признаюсь, мне не

хотелось бы прослыть подражателем… Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского оборотня.

В одном селении… Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж…

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росою, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные седые усы, спит с открытыми глазами и прочее и прочее. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого детины,

стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен, как маков цвет, а глуп, как горелый пень». В се-

лении прозвали его вислогубым красиком, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян не явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун;

притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на

Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!» — что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче, Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвешивал ей дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею… Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза — еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть с помощью обручального кольца да честного венца прибрать к рукам и Артема, и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышленые крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артем

Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец, или это — не в нашу меру будь сказано — Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки… а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу: *кто Богу не грешен, царю не виноват!* И Акулина Тимофевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно

потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его весть! Бродит себе по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот те Бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегает оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживем припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что

старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружочек.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названого своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался

удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постелю, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но, когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сенях, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени… Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в са-

мую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пень вышиною почти в полчеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море-океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не

стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно б было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые, может быть, от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком, и за третьим разом глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длин-

ною пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобья и платья, он попробовал молвить слово — и что же? вместо человечьего голоса завыл волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка, — думал он, — посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого… как же эти удальцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве…» Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень, — только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: *чур меня! чур меня!* Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда никто его

столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки боятся… То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на *серого забияку*. Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы, крикнули по селению, что один конец должен быть со старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что в силу заговора его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все уськали, кри-

чали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера, и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже… Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую ум-

ную речь:

— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайтесь меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло,

слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребенок, если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клети и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него

кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою ценою, — то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названым сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом

про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смирно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была челышко изо всех умных баб.

Эпилог

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления: *что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком*. Нравоучение близкое и

ясное, и, кажется, — если, впрочем, самолюбие меня не обманывает — оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк пастух»:

Я басню всю коротким толком
Хочу вам, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать.

Александр Пушкин. Русалка



БЕРЕГ ДНЕПРА. МЕЛЬНИЦА

Мельник, дочь его.

Мельник

Ох, то-то все вы, девки молодые,
Все глупы вы. Уж если подвернулся
К вам человек завидный, не простой,
Так до́лжно вам его себе упрочить.
А чем? разумным, честным поведеньем;
Заманивать то строгостью, то лаской;
Порою исподволь обиняком
О свадьбе заговаривать, – а пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище; она —

Что слово – раз упустишь, не воротишь.
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе – иль пользу
Родным да выгадать; подумать надо:
«Не вечно ж будет он меня любить
И баловать меня». – Да нет! куда
Вам помышлять о добром деле! кстати ль?
Вы тотчас одуреете; вы рады
Исполнить даром прихоти его;
Готовы целый день висеть на шее
У милого дружка, – а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл; а вы
Остались ни с чем. Ох, все вы глупы!
Не говорил ли я тебе сто раз:
Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да спроста
Не погуби самой себя. – Что ж вышло?..
Сиди теперь да вечно плачь о том,

Чего уж не воротишь.

Дочь

Почему же
Ты думаешь, что бросил он меня?

Мельник

Как почему? да сколько раз, бывало,
В неделю он на мельницу езжал?
А? всякий божий день, а иногда
И дважды в день – а там всё реже, реже
Стал приезжать – и вот девятый день,
Как не видали мы его. Что скажешь?

Дочь

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник – за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле.

Мельник

Да, верь ему. Когда князья трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,

Да подговаривать вас, бедных дур.

Он сам работает, куда как жалко!

А за меня вода!.. а мне покою

Ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь:

То здесь, то там нужна еще починка,

Где гниль, где течь. Вот если б ты у князя

Умела выпросить на перестройку

Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

Дочь

Ах!

Мельник

Что такое?

Дочь

Чу! я слышу топот

Его коня… Он, он!

Мельник

Смотри же, дочь,

Не забывай моих советов, помни…

Дочь

Вот он, вот он!

Входит князь. Конюший уводит его коня.

Князь

Здорово, милый друг.
Здорово, мельник.

Мельник

Милостивый князь,
Добро пожаловать. Давно, давно
Твоих очей мы светлых не видали.
Пойду тебе готовить угощенье.

(Уходит.)

Дочь

Ах, наконец ты вспомнил обо мне!
Не стыдно ли тебе так долго мучить
Меня пустым жестоким ожиданьем?
Чего мне в голову не приходило?
Каким себя я страхом не пугала?

То думала, что конь тебя занес
В болото или пропасть, что медведь
Тебя в лесу дремучем одолел,
Что болен ты, что разлюбил меня —
Но слава богу! жив ты, невредим
И любишь все по-прежнему меня;
Не правда ли?

Князь

По-прежнему, мой ангел,
Нет, больше прежнего.

Любовница

Однако ты
Печален; что с тобою?

Князь

Я печален?
Тебе так показалось. – Нет, я весел
Всегда, когда тебя лишь вижу.

Она

Нет.
Когда ты весел, издали ко мне
Спешишь и кличешь: где моя голубка,

Что делает она? а там целуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебе
И ожидала ли тебя так рано.
А нынче: слушаешь меня ты молча,
Не обнимаешь, не целуешь в очи,
Ты чем-нибудь встревожен, верно. Чем же?
Уж на меня не сердишься ли ты?

Князь

Я не хочу притворствовать напрасно.
Ты права: в сердце я ношу печаль
Тяжелую – и ты ее не можешь
Ни ласками любовными рассеять,
Ни облегчить, ни даже разделить.

Она

Но больно мне с тобою не грустить
Одною грустью – тайну мне поведай.
Позволишь – буду плакать; не позволишь —
Ни слёзкой я тебе не досажу.

Князь

Зачем мне медлить? чем скорей, тем лучше.

Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете

Блаженства прочного: ни знатный род,

Ни красота, ни сила, ни богатство,

Ничто беды не может миновать.

И мы, – не правда ли, моя голубка?

Мы были счастливы; по крайней мере

Я счастлив был тобой, твоей любовью.

И что вперед со мною ни случится,

Где б ни был я, всегда я буду помнить

Тебя, мой друг; того, что я теряю,

Ничто на свете мне не заменит.

Она

Я слов твоих еще не понимаю,

Но уж мне страшно. Нам судьба грозит,

Готовит нам неведомое горе,

Разлуку, может быть.

Князь

Ты угадала.

Разлука нам судьбою суждена.

Она

Кто нас разлучит? разве за тобою
Идти вослед я всюду не властна?
Я мальчиком оденусь. Верно буду
Тебе служить, дорогою, в походе
Иль на войне – войны я не боюсь —
Лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю.
Иль выведать мои ты мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь.

Князь

Нет, шутки мне на ум нейдут сегодня,
Выведывать тебя не нужно мне,
Не снаряжаюсь я ни в дальный путь,
Ни на войну – я дома остаюсь,
Но должен я с тобой навек проститься.

Она

Постой, теперь я понимаю все…
Ты женишься.

(Князь молчит.)

Ты женишься!..

Князь

Что делать?
Сама ты рассуди. Князья не вольны,
Как девицы – не по́ сердцу они
Себе подруг берут, а по расчетам
Иных людей, для выгоды чужой.
Твою печаль утешит Бог и время.
Не забывай меня; возьми на память
Повязку – дай, тебе я сам надену.
Еще с собой привез я ожерелье —
Возьми его. Да вот еще: отцу
Я это посулил. Отдай ему.

(Дает ей в руки мешок с золотом.)

Прощай.

Она

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.

Князь

Припомни.

Она

Для тебя
Я все готова… нет, не то… Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть… Все не то…
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

Князь

Несчастная! как быть? хоть для него
Побереги себя; я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься, не крушися.
Дай обниму тебя в последний раз.

(Уходя.)

Ух! кончено – душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо.

(Уходит.)
Она остается неподвижною.

Мельник

(входит)

Не угодно ль будет
Пожаловать на мельницу... да где ж он?
Скажи, где князь наш? ба, ба, ба! какая
Повязка! вся в каменьях дорогих!
Так и горит! и бусы!.. Ну, скажу:
Подарок царский. Ах он благодетель!
А это что? мошонка! уж не деньги ль?
Да что же ты стоишь, не отвечаешь,
Не вымолвишь словечка? али ты
От радости нежданной одурела,
Иль на тебя столбняк нашел?

Дочь

Не верю,
Не может быть. Я так его любила.
Или он зверь? Иль сердце у него
Косматое?

Мельник

О ком ты говоришь?

Дочь

Скажи, родимый, как могла его
Я прогневить? в одну недельку разве
Моя краса пропала? иль его
Отравой опоили?

Мельник

Что с тобою?

Дочь

Родимый, он уехал. Вон он скачет! —
И я, безумная, его пустила,
Я за полы его не уцепилась,
Я не повисла на узде коня!
Пускай же б он с досады отрубил
Мне руки по локоть, пускай бы тут же
Он растоптал меня своим конем!

Мельник

Ты бредишь!

Дочь

Видишь ли, князья не вольны,

Как девицы, не по сердцу они
Берут жену себе… а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: тебя я повезу
В мой светлый терем, в тайную светлицу
И наряжу в парчу и бархат алый.
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься
И до зари за мельницей сидеть.
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь.

Мельник

Вот в чем дело.

Дочь

Да кто ж его невеста? на кого
Он променял меня? уж я узнаю,
Я доберусь. Я ей скажу, злодейке:
Отстань от князя, – видишь, две вол-

чихи

Не водятся в одном овраге.

Мельник

Дура!

Уж если князь берет себе невесту,

Кто может помешать ему? Вот то-то.

Не говорил ли я тебе…

Дочь

И мог он,

Как добрый человек, со мной прощаться,

И мне давать подарки – каково! —

И деньги! выкупить себя он думал,

Он мне хотел язык засеребрить,

Чтоб не прошла о нем худая слава

И не дошла до молодой жены.

Да, бишь, забыла я – тебе отдать

Велел он это серебро, за то,

Что был хорош ты до него, что дочку

За ним пускал таскаться, что ее

Держал не строго… Впрок тебе пойдет

Моя погибель.

(Отдает ему мешок.)

Отец

(в слезах)

До чего я дожил!
Что бог привел услышать! Грех тебе
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей.
Как было мне тебя не баловать?
Бог наказал меня за то, что слабо
Я выполнил отцовский долг.

Дочь

Ох, душно!
Холодная змия мне шею давит...
Змеей, змеей опутал он меня,
Не жемчугом.

(Рвет с себя жемчуг.)

Мельник

Опомнись.

Дочь

Так бы я
Разорвала тебя, змею злодейку,
Проклятую разлучницу мою!

Мельник

Ты бредишь, право, бредишь.

Дочь

(сымает с себя повязку)

Вот венец мой,
Венец позорный! вот чем нас венчал
Лукавый враг, когда я отреклася
Ото всего, чем прежде дорожила.
Мы развенчались. – Сгинь ты, мой венец!

(Бросает повязку в Днепр.)

Теперь все кончено.

(Бросается в реку.)

Старик

(падая)

Ох, горе, горе!

КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ

Свадьба. Молодые сидят за столом.
Гости. Хор девушек.

Сват

Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь с княгиней молодой.
Дай Бог вам жить в любови да совете,
А нам у вас почаще пировать.
Что ж, красные девицы, вы примолкли?
Что ж, белые лебедушки, притихли?
Али все песенки вы перепели?
Аль горлышки от пенья пересохли?

Хор

Сватушка, сватушка,
Бестолковый сватушка!

По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися:
Верея ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невесту ехати.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся,
В мошне денежка шевелится,
К красным девушкам норовится.

Сват

Насмешницы, уж выбрали вы песню!
На, на, возьмите, не корите свата.

(Дарит девушек.)

Один голос

По камушкам, по желтому песочку
Пробегала быстрая речка,

В быстрой речке гуляют две рыбки,
Две рыбки, две малые плотицы.
А слышала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечор, у нас красна девица топилась,
Утопая, мила друга проклинала.

Сват

Красавицы! да это что за песня?
Она, кажись, не свадебная; нет.
Кто выбрал эту песню? а?

Девушки

Не я —
Не я – не мы…

Сват

Да кто ж пропел ее?

Шепот и смятение между девушками.

Князь

Я знаю кто.

(Встает из-за стола и говорит тихо

конюшему.)

Она сюда прокралась.
Скорее выведи ее. Да сведай,
Кто смел ее впустить.
Конюший подходит к девушкам.

Князь

(садится, про себя)

Она, пожалуй,
Готова здесь наделать столько шума,
Что со стыда не буду знать, куда
И спрятаться.

Конюший

Я не нашел ее.

Князь

Ищи. Она, я знаю, здесь. Она
Пропела эту песню.

Гость

Ай да мед!
И в голову и в ноги так и бьет —

Жаль, горек: подсластить его б не худо.

Молодые целуются. Слышен слабый крик.

Князь

Она! вот крик ее ревнивый.

(Конюшему.)

Что?

Конюший

Я не нашел ее нигде.

Князь

Дурак.

Дружко

(вставая)

Не время ль нам княгиню выдать мужу
Да молодых в дверях осыпать хмелем?

Все встают.

Сваха

Вестимо, время. Дайте ж петуха.

Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем – и ведут в спальню.

Сваха

Княгиня душенька, не плачь, не бойся,
Послушна будь.

Молодые уходят в спальню, гости все расходятся, кроме свахи и дружка.

Дружко

Где чарочка? Всю ночь
Под окнами я буду разъезжать,
Так укрепиться мне вином не худо.

Сваха

(наливает ему чарку)

На, кушай на здоровье.

Дружко

Ух! спасибо.

Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда.

Сваха

Да, слава богу,
Все хорошо, – одно не хорошо.

Дружко

А что?

Сваха

Да не к добру пропели песню
Не свадебную, а бог весть какую.

Дружко

Уж эти девушки – никак нельзя им
Не попроказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.
Пойти-ка мне садиться на коня.
Прощай, кума.

(Уходит.)

Сваха

Ох, сердце не на месте!
Не в пору сладили мы эту свадьбу.

СВЕТЛИЦА

Княгиня и мамка.

Княгиня

Чу – кажется, трубят; нет, он не едет.
Ах, мамушка, как был он женихом,
Он от меня на шаг не отлучался,
С меня очей, бывало, не сводил.
Женился он, и все пошло не так.
Теперь меня ранешенко разбудит
И уж велит себе коня седлать;
Да до ночи бог ведает где ездит;
Воротится, чуть ласковое слово
Промолвит мне, чуть ласковой рукой
По белому лицу меня потреплет.

Мамка

Княгинюшка, мужчина что петух:
Кири куку! мах-мах крылом и прочь.
А женщина, что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят.
Пока жених – уж он не насидится;

Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится.
Женился – и заботы настают.
То надобно соседей навестить,
То на охоту ехать с соколами,
То на войну нелегкая несет,
Туда, сюда – а дома не сидится.

Княгиня

Как думаешь? уж нет ли у него
Зазнобы тайной?

Мамка

Полно, не греши:
Да на кого тебя он променяет?
Ты всем взяла: красою ненаглядной,
Обычаем и разумом. Подумай:
Ну в ком ему найти, как не в тебе,
Сокровища такого?

Княгиня

Когда б услышал Бог мои молитвы
И мне послал детей! К себе тогда б
Умела вновь я мужа привязать…

А! полон двор охотниками. Муж
Домой приехал. Что ж его не видно?

Входит ловчий.

Что князь, где он?

Ловчий

Князь приказал домой
Отъехать нам.

Княгиня

А где ж он сам?

Ловчий

Остался
Один в лесу на берегу Днепра.

Княгиня

И князя вы осмелились оставить
Там одного; усердные вы слуги!
Сейчас назад, сейчас к нему скачите!
Сказать ему, что я прислала вас.

Ловчий уходит.

Ах боже мой! в лесу ночной порою

И дикий зверь, и лютый человек,
И леший бродит – долго ль до беды.
Скорей зажги свечу перед иконой.

Мамка

Бегу, мой свет, бегу…

ДНЕПР. НОЧЬ

Русалки

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.

Одна

Тише, тише! под кустами
Что-то кроется во мгле.

Другая

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле.

Прячутся.

Князь

Знакомые, печальные места!

Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов – видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась – она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором, неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла…
Возможно ли?..

Идет к деревьям, листья сыплются.

Что это значит? листья,
Поблекнув, вдруг свернулися и с шумом
Посыпались как пепел на меня.
Передо мной стоит он гол и черен,
Как дерево проклятое.

Входит старик, в лохмотьях и полунагой.

Старик

Здорово,
Здорово, зять.

Князь

Кто ты?

Старик

Я здешний ворон.

Князь

Возможно ль? Это мельник.

Старик

Что за мельник!

Я продал мельницу бесам запечным,
А денежки отдал на сохраненье
Русалке, вещей дочери моей.
Они в песку Днепра-реки зарыты,
Их рыбка-одноглазка стережет.

Князь

Несчастный, он помешан. Мысли в нем
Рассеяны, как тучи после бури.

Старик

Зачем вечор ты не приехал к нам?
У нас был пир, тебя мы долго ждали.

Князь

Кто ждал меня?

Старик

Кто ждал? вестимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вам даю: сиди она
С тобою хоть всю ночь, до петухов,
Ни слова не скажу я.

Князь

Бедный мельник!

Старик

Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом
И с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг
Почувствовал, два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могилке
Сижу да каркаю.

Князь

Какая жалость!
Кто ж за тобою смотрит?

Старик

Да, за мною
Присматривать не худо. Стар я стал
И шаловлив. За мной, спасибо, смот-

рит
Русалочка.

Князь

Кто?

Старик

Внучка.

Князь

Невозможно
Понять его. Старик, ты здесь в лесу
Иль с голоду умрешь, иль зверь тебя
Заест. Не хочешь ли пойти в мой терем
Со мною жить?

Старик

В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь ожерельем. Здесь я жив,
И сыт, и волен. Не хочу в твой терем.

(Уходит.)

Князь

И этому всё я виною! Страшно
Ума лишиться. Легче умереть.
На мертвеца глядим мы с уваженьем,
Творим о нем молитвы. Смерть равняет
С ним каждого. Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
Напрасно речь ему дана, не правит
Словами он, в нем брата своего
Зверь узнает, он людям в посмеянье,
Над ним всяк волен, Бог его не судит.
Старик несчастный! вид его во мне
Раскаянья все муки растравил!

Ловчий

Вот он. Насилу-то его сыскали!

Князь

Зачем вы здесь?

Ловчий

Княгиня нас послала.
Она боялась за тебя.

Князь

Несносна
Ее заботливость! иль я ребенок,
Что шагу мне ступить нельзя без няньки?

(Уходит.)
Русалки показываются над водой.

Русалки

Что, сестрицы? в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Плеском, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?
Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,
Петухи в селе пропели,
Закатилася луна.

Одна

Погодим еще, сестрица.

Другая

Нет, пора, пора, пора.
Ожидает нас царица,

Наша строгая сестра.

Скрываются.

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО

Терем русалок.
Русалки прядут около своей царицы.

Старшая русалка

Оставьте пряжу, сестры. Солнце село.
Столбом луна блестит над нами. Полно,
Плывите вверх под небом поиграть,
Да никого не трогайте сегодня,
Ни пешехода щекотать не смейте,
Ни рыбакам их невод отягчать
Травой и тиной, ни ребенка в воду
Заманивать рассказами о рыбках.

Входит русалочка.

Где ты была?

Дочь

На землю выходила

Я к дедушке. Все просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,
Которые когда-то в воду к нам
Он побросал. Я долго их искала;
А что такое деньги, я не знаю.
Однако же я вынесла ему
Пригоршню раковинок самоцветных.
Он очень был им рад.

Русалка

Безумный скряга!
Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придет мужчина. Стереги его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец.

Дочь

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

Русалка

Он сам; к нему нежнее приласкайся
И расскажи все то, что от меня

Ты знаешь про свое рожденье; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что все его я помню и люблю
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь

О, поняла.

Русалка

Ступай же.

(Одна.)

С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет – я каждый день
О мщенье помышляю…
И ныне, кажется, мой час настал.

БЕРЕГ

Князь

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Все здесь напоминает мне былое
И вольной красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.
Здесь некогда любовь меня встречала,
Свободная, кипящая любовь;
Я счастлив был, безумец!.. и я мог
Так ветрено от счастья отказаться.
Печальные, печальные мечты
Вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
И согласится он оставить лес
И к нам переселиться…

Русалочка выходит на берег.

Что я вижу!
Откуда ты, прекрасное дитя?

Николай Гоголь. Майская ночь, или Утопленница

Враг его батька знае! начнуть що небудь робыть люды хрещены, то мурдуютця, мурдуютця, мов хорты за зайцем, а все щось не до шмыгу; тильки ж куды чорт уплетецця, то верть хвостыком – так де воно й возметцця ниначе з неба.



I. Ганна



Звонкая песня лилась рекою по улицам села ***. Было то время, когда, утомленные дневными трудами и заботами, парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с унынием. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо, преобращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подтанцывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

Сонце нызенько, вечер блызенько,
Выйды до мене, мое серденько!

«Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! — сказал козак, окончивши песню и приближась к окну. — Галю, Галю! ты спишь, или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою… Нет, ты не спишь, гордая дивчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною; прощай!» Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрыпом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звез-

дочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. «Какой же ты нетерпеливой, — говорила она ему вполголоса. — Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам… Я вся дрожу…»

— О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

— Знаешь ли, что я думаю, — прервала девушка, задумчиво потопив в него свои очи. — Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки… Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

— Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

— О, ты мне не надоел, — молвила она, усмех-

нувшись. — Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмехается: и весело, и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя.

— О моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

— Постой! полно, Левко! Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?

— Что? — сказал он, будто проснувшись. — Да, что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж — говорил. — Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово: «говорил».

— Что же?

— Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где и повесничаю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

— Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри,

посмотри! — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. — Посмотри: вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третия, четвертая, пятая… Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, — туда бы полететь, высоко, высоко… Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.

— Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым Воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

— Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом

и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

— Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..

— Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупой. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно.

— Расскажи, расскажи, милой, чернобровой парубок! — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка.

Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать… Расскажи, Левко!..

— Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку: кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку:

кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке; да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит он жить на белом свете!..» И вон, видишь ли ты… — Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. — Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете…

— А ведьма? — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.

— Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура… Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках! — Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.

— Прощай, Левко! — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес.

Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею; а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени. «Прощай, Ганна!» — раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем. «Ты воротился!» — сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону. «Прощай, Ганна!» — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку. «Вот принесла нелегкая и другого!» — проговорила она с сердцем. «Прощай, милая Ганна!» — «Еще и третий!» — «Прощай! прощай! прощай, Ганна!» — и поцелуи засыпали ее со всех сторон. «Да тут их целая ватага!» — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. — «Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!» Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

II. Голова



Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешень пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит; все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно

возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба… Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

— Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп! — Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. — Ей-богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-богу, не так! А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!

— Вот одурел человек! добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан, детям на смех, танцует ночью по улице! — вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою! Пора спать давно!

— Я пойду! — сказал, остановившись, мужик. — Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову.

Что он думает, *дидько б утысся его батькови,* что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня бог! Бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что… — продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. — Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!

— Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал! — закричали, смеясь, позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. — Показать тебе твою хату?

— Покажите, любезные молодушки!

— Молодушки? слышите ли, — подхватила одна, — какой учтивый Каленик! За это ему нужно показать хату… но нет, наперед потанцуй!

— Потанцевать?.. эх вы, замысловатые девушки! — протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. — А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!.. — и косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону,

увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.

— Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова важное лицо на селе. Покамест Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевши его, берется за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают *добридень*. Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубошную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в

Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд исподлобья. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую

клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; но зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

III. Неожиданный соперник. Заговор



«Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!» Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. «Прощайте, братцы! покойная вам ночь!» — и быстрыми шагами шел от них по улице. «Спит ли моя яснооκая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка… «Что это значит?» — подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки… Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного; но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его

неприятности — быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя. «Левко? Левко еще молокосос! — говорил хрипло и вполголоса высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб…» — «Хотелось бы мне знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чуб!» — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать. «Как тебе не стыдно! — сказала Ганна по окончании его речи. — Ты *лжешь*; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты меня *любил*!» — «Знаю, — продолжал высокий человек, — Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову». (Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком и как будто он когда-то его слышал.) «Но я дам себя знать Левку! — продолжал все так же незнакомец, — он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки». При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря

на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох; Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.

«Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову, и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. «Прощай, красавица!» — вскричал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. «Прощай, прощай, Ганна!» — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею. «Провалитесь, проклятые сорванцы! — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. — Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!..»

— Голова! Голова! это голова! — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.

— Ай да батько! — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. — Вот какие за тобою водятся проказы! славно! А я дивлюсь да

передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда! — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу, — ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать; но теперь раздумал и готов, хоть целую ночь, сам гулять с вами.

— Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. — Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только.

— Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?

— Голову!

— Да, голову. Что он в самом деле задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которою бы не волочился голова.

— Это так, это так, — закричали в один голос все хлопцы.

— Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!

— Покажем! — закричали парубки. — Да если голову, то и писаря не минуть!

— Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу, — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. — Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни попало!

— Гуляй, козацкая голова! — говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. — Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!.. — И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «ну, теперь гуляют парубки!»

IV. Парубки гуляют



Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым покутом, на почетном месте, сидел гость — низенькой, толстенькой человечек, с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший из нее, превращенный в золу, табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскучa сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы;

но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.

— Скоро же вы думаете, — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, — поставить вашу винокурню?

— Когда Бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На Покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге. — По произнесении сих слов глазки винокура пропали; вместо них протянулись лучи до самых ушей; все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

— Дай бог, — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. — Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот, в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько…

— Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь… Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные християне, а каким-то чертовским паром. — Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. — Как это паром — ей-богу, не знаю!

— Что за дурни, прости господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что. Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка…

— И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица, — будешь все это время жить у нас без жены!

— А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.

— Будто не хороша? — спросил голова, устремив на него глаз свой.

— Куды тебе хороша! *Стара як бис.* Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек. — И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Каленик. «Вот я и домой пришел! — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Вишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подослать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу, не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня… Пусть, уже я сам достану». Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.

— За это люблю, — сказал голова, — пришел в чужую хату и распоряжается как дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..

— Оставь, сват, отдохнуть! — сказал винокур, удерживая его за руку. — Это полезной человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла… — Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приме-

там, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.

— Что-то как старость придет!.. — ворчал Каленик, ложась на лавку. — Добро бы, еще сказать, пьян, так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого черта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе…

— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтобы он подавился этим камнем…

— Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! — подхватил, побледневши, винокур. — Боже сохрани тебя, и на том, и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!

— Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!..

— И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что

случилось с покойною тещею моей?

— С тещей?

— Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг, откуда ни возьмись человек, какого он роду, бог его знает, просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавился.

— Так ему, обжоре проклятому, и нужно! — сказал голова.

— Так бы, да не так вышло: с того времени по-

кою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу…

— И галушка в зубах?

— И галушка в зубах.

— Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее еще за покойницу… — Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнул и струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:

Хлопцы, слыхали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
В голове расселись клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!

Голова наш сед и крив,

Стар, как бес; а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жмется к девкам… Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам, да по шеям!
За чуприну! за чуприну!

«Славная песня, сват! — сказал винокур, наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. — Славная! скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами…» И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики: «снова! снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста; а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик…

Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия; но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. «Карпо, отворяй комору! — сказал голова десятскому. — Мы его в темную комору! А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним!» Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его. «Куда?» — закричал голова, ухватив еще крепче за ворот. «Пусти, это я!» — слышался тоненький голос. «Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чер-

том, не только бабою, меня не проведешь!» — и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, и в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.

В размышлении шли они все трое, потупив голову, и вдруг на повороте в темный переулок разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.

— А я к тебе иду, пан писарь.

— А я к твоей милости, пан голова.

— Чудеса завелися, пан писарь.

— Чудные дела, пан голова.

— А что?

— Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами… словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком. (Все это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние.) Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими страмными песнями и

стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куды попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у черта, который кует гвозди для грешников.

— А как он одет, пан писарь?

— В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.

— А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?

— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.

— Давайте огня! мы посмотрим его! — Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу.

— Скажи, пожалуйста, — с такими словами она приступила к нему, — ты не свихнулся еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору; счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!.. — Последние слова

вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.

— Да, я вижу, что это ты! — сказал голова, очнувшись. — Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятой сорвиголова?

— Шельма, пан голова.

— Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?

— Давно пора, давно пора, пан голова.

— Они, дурни, забрали себе… Кой черт? мне почудился крик свояченицы на улице; они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровен. Они думают, что какой-нибудь их брат, простой козак!.. — Небольшой, последовавший за сим кашель и устремление глаза исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чем-то важном. — В тысячу… этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему *Ледачему* дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышленее всех. О! — это «о!» голова произнес, поднявши палец вверх, — посмышленее всех! в проводники к царице. Я тогда…

— Что и говорить! это всякой уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла; хватил

немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?

— А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чертовы дети отказалися вымолотить мое жито; я не забыл… Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.

— Это проворная, видно, птица! — сказал винокур, которого щеки, в продолжение всего этого разговора, беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. — Эдакого человека не худо на всякий случай и при виннице держать; а еще лучше повесить на верхушку дуба, вместо паникадила. — Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.

В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; лю-

бопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот был от сундука его! Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и… голова стал бледен, как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица.

Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение подойти к ним. «Стой! — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. — Господа! это сатана! — продолжал он. — Огня! живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле!» Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное

определение. «Что вы, братцы! — говорил винокур, — слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу!» Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуверять их.

«Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, — сказал писарь. — Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт». Предложение одобрено. «Чур меня, сатана! — продолжал писарь, приложась губами к скважинке в дверях, — если не пошевелишься с места, мы отворим дверь».

Дверь отворилась.

— Перекрестись! — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место, в случае ретирады.

Свояченица перекрестилась.

— Кой черт! Точно, это свояченица!

— Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру? — И свояченица, всхлипывая, расска-

зала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.

«Добро ты, одноглазый сатана! — вскричала она, приступив к голове, который попятился немного и все еще продолжал ее мерить своим глазом. — Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю все. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся…» Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушу.

— Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские.

— Кого поймали? — спросил голова.

— Дьявола в вывороченном тулупе.

— Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. — Вы с ума сошли: да это пьяный Каленик.

— Что за пропасть! в руках наших был, пан голова! — отвечали десятские. — В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук… черт с вами!.. И как мы попали эту ворону вместо него бог один знает!

— Властью моей и всех мирян дается повеление, — сказал голова, — изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне!..

— Помилуй, пан голова! — закричали некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.

— Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку? Вы бунтовщики? Что это?.. Что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы… Я донесу Комиссару! Сей же час! слышите, сей час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас… Чтоб вы мне… — Все разбежались.

V. Утопленница



Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут. Шапку держал он в руке. Пот валился с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась… «Нет, эдак я засну еще здесь!» — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного.

Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается… Сердце его разом забилось… Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонькой; краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь», — и молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в

томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало, какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку,
И ты, зоре ясна!
Ой, свитыть там по подворью,
Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась!.. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню!» — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.

— Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?

Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок, — говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось в ее речи. — Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для

тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть… Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня; заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез… Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!..»

Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка.

— Я готов на все для тебя, моя панночка! — сказал он в сердечном волнении, — но как мне, где ее найти?

— Посмотри, посмотри! — быстро говорила она, — она здесь! она на берегу играет в хороводе

между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки, в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона, давайте играть в ворона!» — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном! — сказала девушка, изнемогая от усталости. — Мне

жалко отнимать цыпленков у бедной матери!» — «Ты не ведьма!» — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собирались кинуть жребий. «Я буду вороном!» — вызвалась одна из средины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы и схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и оборотившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку…» Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло… С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и… проснулся.

VI. Пробуждение



«Неужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!.. Чудно, чудно!» — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.

«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не черт!» — так кричал голова своим сопутникам, и Левко увидел себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха.

«Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченной дьявол строит штуки! А это, выходит, все ты, невареной кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!

— Постой, батько! велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.

— Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!

— Постой, пан голова! — сказал писарь, развернув записку. — Комиссарова рука!

— Комиссара?

— Комиссара? — повторили машинально десятские.

«Комиссара? чудно! еще непонятнее!» — подумал про себя Левко.

— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?

— Послушаем, что пишет комиссар! — произнес винокур, держа в зубах люльку и вырубливая

огонь.

Писарь откашлялся и начал читать: *«Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости…»*

— Вот, ей-богу! — прервал голова, — ничего не слышу!

Писарь начал снова: *«Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду…»*

— Стой, стой! не нужно! — закричал голова, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!

«А вследствие того приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на козачке из вашего же села Ганне Петрыченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский».

— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за все с головы

спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить… А тебя! — продолжал он, оборотясь к Левку, — вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра… Где ты взял эту записку?

Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать».

— Он это говорил?

— Говорил.

— Слышите ли? — говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим сопутникам. — Комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, т. е. ко мне, на обед. О! — Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-ни-

будь. — Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?

— Еще, сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом.

— Не всякий голова голове чета! — произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. — Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще коего чего… А?

— Нужно бы, нужно, пан голова!

— А когда же свадьбу, батько? — спросил Левко.

— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя… завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я… — При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.

— Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как

вез царицу! — сказал Левко и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка, — думал он про себя. — Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!» Тут он приближился к хате: окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут все уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля, в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: все погрузилось в сон. Изредка только пе-

рерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.



Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Надежда Молитвина*

Шеф-редактор *Кира Фролова*

Ответственный редактор *Дарья Урбанская*

Арт-директора *Анастасия Родненкова, Валерия Шило*

Дизайнер *Милана Корягина*

Иллюстрация на обложке и форзацах *Дарья Романова*

Техническая корректура *Дарья Ращупкина, Мелания Быкова*

ООО «МИФ»

mann-ivanov-ferber.ru